

ли романтики, именно благодаря этому он и обладает универсальными возможностями в отражении действительности, поскольку автономность, отсутствие подчиненности внешней цели делают его малым универсумом, подобием мира, который также не подчинен никакой внешней цели. У романтиков материалы искусства «не трактуются как мертвая техника, в них присутствует своеобразная воодушевленность, они не орудия только, они какой-то мерой соавторы автора» [25, с. 47—48]. Поэтому они и уделяли такое внимание отношению поэта к языку.

Наметив в общих чертах концепцию поэзии как особой формы языковой деятельности, А. В. Шлегель попытался указать особенности поэтического языка. Но здесь его ждала неудача.

А. В. Шлегель отметил четыре характерные черты поэтического языка: 1) употребление необычных слов (архаизмов, диалектизмов, авторских неологизмов); 2) отклонение от общепринятых норм словоизменения; 3) «особенные словосочетания»; 4) «особенности в порядке слов» [14, с. 245]. В качестве специфических поэтических приемов он рассмотрел эпитет, сравнение, троп, персонификацию. Были также охарактеризованы основные приемы звуковой организации поэтической речи. В результате данный А. В. Шлегелем очерк оказался практически ничем не отличающимся от соответствующих разделов поэтик, написанных и до романтиков. Творческая сущность поэтического языка, о которой шла речь в теоретической части, не была конкретизирована в языковом материале. И дело не столько в неразработанности методики лингвистического исследования в то время, сколько в том, что в этом очерке А. В. Шлегель попытался охарактеризовать поэтический язык, исходя из его элементов. Тем самым он пришел в противоречие со своим собственным положением о языке как деятельности и творчестве. Путь от элементов просто не мог привести его к тому результату, к которому он стремился. В итоге он был вынужден признать невозможным «провести строгую границу поэтического в речи» [14, с. 252].

Пока А. В. Шлегель следовал собственному призыву идти от целого к частностям, его построения сохраняли логику, но когда он попытался вывести из частей целое, связь распалась. Уместно будет в связи с этим вспомнить слова М. М. Бахтина о том, что «отношения высказываний к реальной действительности, к реальному говорящему субъекту и к реальным другим высказываниям, отношения, впервые делающие высказывания истинными или ложными, прекрасными и т. п.», подлежат ведению не лингвистики, а металингвистики [26, с. 303], металингвистические же отношения «в корне отличны от всех возможных лингвистических отношений элементов как в системе языка, так и в отдельном высказывании» [26, с. 293].

Опыт А. В. Шлегеля не был единичным явлением в теоретической деятельности романтиков. Мысль о том, что поэтика не может обойтись без общей теории языка, представление о поэзии как об особой форме языка, наиболее полно воплощающей его возможности, постоянно присутствовали в их сочинениях. Ф. Шлегель открыл лекции о древней и новой литературе (1812 г.) подробными рассуждениями о сущности языка. К. Зольгер в лекциях по эстетике (были прочитаны в 1819 г.) попытался повторить построение А. В. Шлегеля, предварив теорию поэзии разделом о теории языка, исходя из того, что в поэзии сам язык является «художественным» [27, с. 268]. Как своеобразное «расширение» языка понимал поэзию А. фон Арним [28, с. 368]. Наконец, Я. Гримм был убежден, что историческое языкознание «станет одновременно светочем истории поэзии и будет сопровождать ее повсюду» [29, с. 180].

Романтический эксперимент лингвистического обоснования поэтики явился связующим звеном между идеями о поэтическом характере первобытного языка, поэзии как первом языке человечества, выдвигавшимися в XVIII в. (Дж. Вико, Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гаман, И. Г. Гердер),